



Виктор Слипенчук

Поэт, прозаик и публицист, автор множества поэтических сборников, рассказов, повестей и очерков. Среди его произведений – поэтические книги: «Свет времени», «Путешествие в Пустое место», «Чингис-Хан», «Тринадцатый подвиг Геракла», «Зигзаг». Романы – «Огонь молчания», «Зинзивер». Пьесы для театра в десяти эпизодах «Губернатор». Многие

книги переведены и изданы во Вьетнаме, Китае, Монголии, Сербии, Франции и Японии.

Родился в 1941 году в Приморском крае, в селе Черниговка. Первое своё стихотворение опубликовал в 14 лет. Получил два высших образования, двадцать три года прожил на Алтае. Работал геологоразведчиком, слесарем-сборщиком АТЗ (Алтайского тракторного завода), зоотехником, матросом, рыбоводом, строителем, журналистом.

В 1982 году Виктор Слипенчук был принят в Союз писателей СССР. После окончания Высших литературных курсов направлен на усиление Новгородской писательской организации, руководил областным литературным объединением, был редактором радиожурнала «Литературный Новгород» и газеты «Вече». С 1996 года живёт в Москве. В 2009-м избран академиком Академии русской словесности. В 2016 году Московская писательская организация вручила В.Т. Слипенчуку знак «Почётный писатель МПО РФ».

Похоронка

Мария Васильевна Вострикова, безграмотная женщина, мать четверых детей (все дочери), получила письмо. Писал зять Фёдор, она поняла это по каракулям, прыгающим во все стороны, а потому ей особенно знакомым. Раньше почти всегда писал племянник Юра, а тут... Может, с Матрёной что?.. Мария Васильевна осторожно, точно своей неловкостью могла причинить боль конверту, опасливо оглядела его и совсем расстроилась. Не такой Фёдор грамотей, чтобы писать зазря, видно, передоверить не мог.

Мария Васильевна положила письмо на комод и, сев на лавку, задумалась, но не о старшей сестре, а о своей жизни, которая, как она полагала, была, в общем-то, ничего, а может быть, и хорошей. Будь её Степан рядом, она бы не сомневалась, а точно бы знала, что хорошей. Ведь, не в пример той же Матрёне, работает не в колхозе за палочки трудодней, а в Доме офицеров. Уборщица, а продовольственный паёк получает ровно офицер какой или жена офицера. В душе потеплело, она почувствовала гордость за свой достаток, ей казалось, что большой. Дети одеты, а что впроголодь, то нынче все впроголодь, такая война прошла, кругом поруха. Она вздохнула: да, будь её Степан с нею, она была бы довольна жизнью.

Мария Васильевна вспомнила недавний сон: Степан вошёл в избу улыбающийся, в солдатской гимнастёрке, подтянутый, даже бравый, как на последней фронтовой фотографии, когда, пополняясь, они стояли в резерве. Вошёл, поставил на стол туго набитый вещмешок и давай одаривать детей: консервами, сахаром, галетами. А когда пришёл её черёд, вытащил тёмный кашемировый платок, по краю не то в цветах, не то в красных яблоках. Мария Васильевна подумала – для неё, встала, счастливо улыбаясь, подставила плечи, а он на вещмешок накинул. И тотчас из него выросла большая, величиною с шапку, жаба. Колыхаясь, как студень, пучеглазо высунулась, подобрала под себя лапками концы платка и замерла: любуйтесь! Степан рад-радёшенек, потянулся к ней и ну бережно так ласкать и целовать её. Дети глядят, смеются и как-то нехорошо, со значением перемигиваются, будто взрослые. Марию Васильевну в озноб бросило: Степан!..

Очнулась и от внезапной мысли – нет Степана, похоронка, погиб – впервые ощутила не сухую застарелую боль, а мягкое, прокатившееся волной облегчение. Потом опомнилась, почувствовала себя виновной перед ним, тихо, одними губами, чтобы не разбудить детей, помолилась, испрашивая прощения за свою слабость. Мария

Васильевна искренне боялась, что где-то там, где правит высшая справедливость, её эту минутную слабость зачтут против Степана. А он-то всегда с нею, никогда сердцем она не верила в похоронку и сейчас, спустя почти пять лет, не верит. Мало ли бывает чего?.. Дети, достаток – всё он, Стёпушка. И как тогда ночами она поверяла ему свои заботы, так и теперь, сидя на лавке, в мыслях советовалась с ним:

«Все дети большевыми стали. Танюшка в школу пошла. Годами самая младшая, а костью – широкая, видно, в тебя, Стёпа, вот-вот Аннушку догонит. А ведь Аннушка на два года с лишком поболее будет. Марьюшка в шестой пошла – пионерка, серьёзная, строгая. Младшие – те пошлать бы, а её слушаются. Я и то маленько побаиваюсь её, всё помнит, всему подсчёт и расчёт – хозяйка. Я недавно купила им пряников и леденцов. Леденцы – розовенькие петушки на палочках, точь-в-точь такими ты угощал меня на ярмарке. Увидела их и позабыла всё... Прихожу домой, Анька и Танька, те, конечно, обрадовались и петушкам, и пряникам, схватили и на улицу – хвастать, а на Марьюшку взглянула и обмерла: до зарплаты, почитай, ещё неделя целая, а я все деньги ухлопала. Достала Марьюшка этот свой блокнотик из газетных полосок, я сама вырезаю их из всякого остатного мусора и приношу ей. Говорю: дарят мне. Ну кто такое добро дарить-то будет? А для неё – богатство, она верит, дитё ещё. А тут как давай мне выговаривать и отчитывать, ну ровно малого ребёнка: ты что такое, мамка, делаешь, комбижиру нет, того и того нет, ужели петушки хлеб али сечку какую заменят? Своим востреньким карандашиком нырнула в блокнотик и вычеркнула меня, мол, не мамка ты нам, иди гуляй на все четыре стороны. Озлилась я, грех попутал. Кто ты такая, чтобы родной матери устраивать расчёт?! Потянулась за пояском, а она как увидела – ничком на пол. Я такая же, как и ты, – все говорят, и звать меня так же. И в слёзы: такой, как ты, буду, не хочу учиться, я тоже петушков хочу. Бей меня, бей, всё равно не пойду в школу, работать

пойду и тоже буду петушков исть. Растерялась я, благо Людмила с работы пришла. Она у нас девка – огонь. Влетела будто ветер. В кого она такая, всё чтоб по её, иначе – берегись, сверкнёт глазищами – прямо страх схватывает. Они-то у неё чёрные – чудно, только недавно углядела, всё блазнилось: тёмно-синие. Это оттого, что белки голубым-голубые и косы, будто лён золотой, всё с синью сличались. Подняла она Марьюшку – и обмеры ей: не реви, в школу в обнове пойдёшь. Перевели меня, мамка, с учениц и деньги выдали. Заведующий самолично обещал через год в город послать на закройщицу. Побаивается он, как бы рисозаводские не сманили меня, говорит, вкус у вас, Людмила Степановна, редкой художественности. Петушкам обрадовалась, закружила по комнате – я с вами вальс танцую. Танюшку на руки, а Марьюшка и Аннушка – им лишь бы подержаться за Людмилу, очень они надеются, что такими же, как она, будут. Есть, есть в ней обворожительность, в последнее время зачастила мне помогать, и уже начальник Дома офицеров приветы передаёт. Киномеханик на дом приходил. Недавно предложили мне подрабатывать, киноконтролёром. Это они всё для Людмилы стараются, хотят с этого боку в доверие попасть, она-то не шибко с ими...»

Мария Васильевна услышала стук калитки, подхватила: уже Танюшка из школы, дел сколь... Она сунула конверт за рамку с семейными фотографиями, торопливо надела плюшевую жакетку и, на ходу завязывая платок, выбежала на крыльцо. Танюшка обрадовалась, что застала мать. Точно почтальонша, сдвинула холщовую сумку набок: смотри, по твоему главному уроку пятёрку отхватила. Раскраснелась, Мария Васильевна увидела в тетрадке по чистописанию три ровных строчки палочек, а под ними – большую красную пятёрку.

– Молодец, Танюшка, – похвалила Мария Васильевна и, видя, что дочь не может налюбоваться пятёркой, повторила: – Молодец, такую большую зазря не поставят, надеются на тебя.

Танюшка застеснялась, пряча тетрадку, наклонилась над сумкой, Мария Васильевна заметила, что от удовольствия у неё покраснели даже уши. Она наказала дочке поглядывать в стайку за стельной козой Машкой-кормилицей, а придёт Марьюшка – пусть сообща принимаются за уборку. Она маленько задержится на работе, её попросили вымыть учебные классы. Зато потом все вместе будут читать письмо от дяди Феди, а завтра в баню пойдут.

Закрывая калитку, она ещё раз увидела счастливое личико и, пока шла по пустырю мимо колхозного сада, сама неведомо чему улыбалась и таяла, будто этот тихий октябрьский день, с пожухлой травой и опустевшими огородами, уже не вбирающими солнечного тепла, а согревающимися как бы своей внутренней памятью о нём. Мария Васильевна мимолётно подивилась погожести дня и тому, что самолёты не летают. Обычно в погожий день небо за железнодорожной станцией всегда усеяно парашютистами, иные один за одним раскрывают сразу по два парашюта, слепленные, они напоминают сросшиеся грибочки и висят над горизонтом долго-долго, а потом растворяются в его белёсости, истаивают. Нити блестячей паутины на сухих стеблях бурьяна вдруг напомнили родную деревню Захарово под Смоленском. (Оттуда перед войной они со Степаном и Людмилой приехали в Приморье, как переселенцы.) «У них там на Покрова хоть маленький снежок, а ложится», – грустно подумала Мария Васильевна и неожиданно решила, что на родину она когда-никогда, а всё равно съездит, попроведает, благо сестра там. Мысль о поездке захватила её и мало-помалу вытеснила тревогу, вызванную письмом, а ясный осенний день своим лёгким обманчивым теплом укрепил неизвестно откуда взявшуюся уверенность, что в письме сообщается о какой-то нечаянной радости для них.

Возле школы Мария Васильевна замедлила шаг, не то чтобы она надеялась встретить Аннушку или Марьюшку (такая надежда всегда с нею), а больше потому, что ме-

сто это особое – здесь дети её учатся, негоже его, будто пустырь, проскакивать. Она шла по-над забором и едва не столкнулась с директором школы, Михаилом Михайловичем Дундиным. Выходя со двора с кипой тетрадей, он строго окликнул её. Мария Васильевна стушевалась.

– Здравствуйте, Михаил Михайлович, – поклонилась, – доброго здоровьичка вам.

Михаил Михайлович слегка приподнял тёмно-серую фетровую шляпу с обвислыми полями, тоже остановился. Высокий, тощий, в расстёгнутой на все пуговицы потёртой кожанке, он казался Марии Васильевне осанистым и даже упитанным. Михаил Михайлович приехал в их село после войны, жил бобылём, судачили, что пристаёт к молодым учительницам, а он вдруг уехал в Спасск и взял в жёны вдову с четырьмя детьми, белую и пухленькую, которую тут же устроил заведующей школьной библиотекой. Год назад у них родился сын. Выбор Михаила Михайловича тогда удивил многих, над ним посмеивались, рассказывали всякие небылицы, а Мария Васильевна сразу приняла его сторону, но вслух одобрения не высказывала, опасалась, что ей могут приписать всякие дурные мысли, выбрал-то он такую, как и она, одинокую, с четырьмя детьми. И всё же это случайное сходство в выборе взволновало её, незаметно для себя она стала сличать всех мужиков с Михаилом Михайловичем, даже своего Степана примерила к нему. И хотя умом понимала, что всё это одна только глупость, для директора школы никакого такого сходства нет, терялась перед ним, чувствовала себя провинившейся школьницей. Михаил Михайлович словно бы догадывался о её тайных мыслях, всегда разговаривал с нею строго, за малейшую безделицу отчитывал. Он и сейчас, стращая за легкомыслие (детей пускает в школу босиком), смотрел на неё, грозно насупив брови, мол, удумала невесть что и ходит, и ещё радуется. Между тем его строгость никогда не обижала Марию Васильевну, напротив, ей было приятно, что он строжится. В его голосе она улавливала и тепло, и ласку и не очень-

то вдумывалась в смысл слов. Она слушала Михаила Михайловича, как слушают шум дождя. Шумит – ну и пусть шумит, дождь не может не шуметь. Уставившись в одну точку и потупившись, Мария Васильевна стояла как замороженная – все заботы отлетели от неё. Если бы Михаилу Михайловичу вздумалось отчитывать её до вечера – она бы и до вечера простояла, не шелохнулась. Наконец, безнадежно махнув рукой, он разрешил ей идти. Она вздрогнула, не совсем понимая – куда идти. Потом, сообразив, суетливо подобралась, зашпешила, боясь не его гнева, а того, что именно она может прогневить. Услышав внезапный оклик, вновь стушевалась, замерла.

– Чуть не забыл: пусть твои школьницы завтра зайдут ко мне, получают обувь. И чтоб носили!

Мария Васильевна, не оглядываясь, согласно кивнула, ждала ещё какого-нибудь указания. Не дождалась, опять зашпешила, заторопилась и, так и не посмеяв оглянуться, с облегчением свернула за угол.

Разговор с директором школы, в котором, кроме приветствия, она не проронила ни слова, всё же утомил её. Она шла опустошённая, каким-то шестым чувством угадывая, что эта её усталость особенная: от неё есть одно лекарство – Степан. Она даже наверняка знала, что стоит ей подумать о нём, о той ликующей ярмарке с розовыми петушками и серебряными бубенчиками – и усталость тут же развеется, улетучится, точно морок дурного сна. Но она подумала о другом: ишь ты, конь вороной – свет в окошке! Над своей строжись, а то и не посмотрю, что директор! Они как бы поменялись местами, теперь Мария Васильевна отчитывала, а он, Михаил Михайлович, стоял перед ней тихий, понурый, провинившийся. Куда ему до Степана. Степан весел, бодр, ласков, а этот... Мария Васильевна сама удивлялась – откуда что бралось, и невольно подзадоривалась своим красноречием. Она до того увлеклась и до того у неё всё складно и убедительно получалось, что, увидев Дом офицеров, посожалела, что уже пришла.

За уборку Мария Васильевна принялась не сразу, придержали напарницы, Ефросинья Худяк и Валентина Пикалёва. Ефросинья отдала давешний долг – пятёрку, её пострел пробрался к солдатской казарме и за каких-нибудь двадцать минут расторговал наволочку подсолнечных семечек. Мария Васильевна эту пятёрку тут же одолжила Валентине, радуясь, что в состоянии одолжить, и предупредила, чтобы девчата на неё больше не рассчитывали, вскорости она сама будет одолжаться у них, потому как собирается съездить на родину попроведать сестру. Девчата заохали: удумала – ближний свет... Попытались отговаривать, но она и слушать не стала, виновато улыбнулась, схватила вёдра, побежала опорожнить урны. Мария Васильевна ничего другого и не ожидала от своих товарок, она знала, что сейчас они поосуждают-поосуждают её за отчаянность, а когда съездит – её же и похвалят: молодец, не убоилась, они бы тоже так поступили. Помнится, по её просьбе приделали крышки к ящикам для мусора, девчата поначалу дулись на неё – лишняя работа, открывай их, закрывай, а нынче довольны – на заднем дворе чистота и порядок, не то что раньше – ветром разбросает мусор, а им выговор.

Хваткость, с какою Мария Васильевна принялась за уборку классов, ей же и пошла на пользу. Начальник Дома офицеров прислал в помощь трёх солдат, сообщая управились быстро, но всё же она маленько отстала от подруг, уборку своей территории на улице заканчивала одна. Впрочем, Мария Васильевна не скучала.

К вечеру как будто ещё больше потеплело. Закатное солнце, выглядывая из-за самолётов, казалось земным, вернувшимся на свой аэродром светилом. В его длинном прожекторном освещении порозовели стены бараков, побелённый известкой штакетник – даже мусорные ящики выглядели обновлённо-праздничными. Бросив в кучу последнюю охапку листьев, Мария Васильевна подняла голову и увидела всё это: вдруг, разом и во всех направлениях. Воробыная стая, что драчливо ворвалась в пустоту

кроны и подняла там шум и гвалт, тотчас перенесла её на иной праздник.

...Людской гомон, толкотня. Ряды фанерных ларьков с яркими рисунками богатырей на стенах и грудями всевозможного товара на прилавках: скоб, хомутов, сапог, рулонами цветного шёлка, ситца и другой материи, рябщей в глазах пестротой красок. Ряженные продавцы (парни в малиновых рубахах с опояской, а девушки в сарафанах с орнаментом – волосы в косах под искрящимися коронами в водопадах разноцветных лент), и тебе товар подобрать, и сплясать, и частушку спеть: подходи, народ, расступись, народ! Весёлое бренчанье балалаек, певучая дробь ложек, присядка, смех, плеск шаровар, свист, визг – всё это смешалось, крутилось, несло, расширяло круг. Если бы Марию Васильевну спросили: что за ярмарка, в какое время года она случилась? – вряд ли бы Мария Васильевна ответила. Она помнит и сытый парной дух пельменей и блинов, и сладковатый, щекочущий ноздри запах дынь и арбузов. Она слышит сухой хруст поджаристой корочки румяных бубликов и звонкий, сочный, точно треск спелых яблок, хруст снега. Она видит закуржавевшие от горячего дыхания отвороты полушубков и мчащихся по зелёному ровному ковру ипподрома коней, вытянувшихся в бешеной скачке. Зима и лето, весна и осень – всё разом в полной естественности потому, что главные на этой ярмарке – они, её Степан и она сама. Вот он, гибкий, широкоплечий (глаза синь-синью), ласково улыбаясь, подводит велосипед, сажает её на раму, она притворно пугается на поворотах, вскрикивает, а сердце смеётся, сердцу радостно. Или вот у счастливого столба Стёпушка разгорячённо сбрасывает на снег полушубок, стягивает самокатки – ворот алой косоворотки расстёгнут, льяной чуб набок, босиком подходит к столбу, высокому, гладкому, вытертому руками и ногами до лоснящегося блеска. Там, на макушке, приз – нарядные дамские полушапочки. Хлопцы подзадоривают Степана, а она стоит в кругу девчат, вся трепещет от понимания его затеи и от-

того, что вдруг не осилит он, не вызовет полусапожки, над нею смеяться будут, уже сейчас девчата посмеиваются – ходить тебе, Мария, в модных полусапожках, готовь ноженьки, снимай свои хлябалки. Стёпушка поплевал на ладони – и наверх, без роздыха почти до самой макушки добрался, только-то и надо вытянуть руку – и его полусапожки, но как на грех скользят ноги, срываются, никак не высвободит он руки. Мария Васильевна ни жива ни мертва, напряжинилась, как бы всей силой помогая ему. Он увидел и, точно опёрся о её плечо, рывком выпростал руку и так вместе с полусапожками съехал вниз. Хлопцы подхватили его, полушубок накинули на плечи – иди вручай своей царевне. Девчата и её вытолкнули – давай, Мария, встречай добытчика. Ещё и радость не прошла, а уже новый страх: ежели не подойдут, малы – тогда что?! Степан рад-радёшенек, протягивает ей полусапожки, они, меховые, словно малые котятка в его больших руках. Мария Васильевна смотрит на них, и глаз оторвать нет сил. «Ты что, девка, окаменела? Примеряй, совсем застудишь парубка». Мужик, будто отпрыгнул, тут же отлетел, едва не ударился головой о столб. А Степан только-то дёрнул плечом да переступил с ноги на ногу. И тут она увидела, что он всё ещё босиком. Сбросила войлочные боты, нырь ноженькой – и обмерла: не лезут. «Да не на ту, не на ту надеваешь. Эко, девка, никак от радости ума лишилась!»

Впору пришлись полусапожки – будто по заказу шили. И началось: ба-рыня, ба-рыня, су-да-рыня, барыня. Пока Стёпушка не сплясал – не обул самокаток. А уж когда обул – она вокруг него пошла. И на каблучках полусапожки, а ловко у неё выходило, потому как она догадливо привставала на носочки и враз привыкла к каблучкам, будто всегда на них ходила...

Мария Васильевна так живо переживала ту счастливую минуту, что, и очнувшись, какое-то время смотрела на яркие краски заката, как на продолжение ярмарки. Когда шла домой, было такое чувство, будто она уходит со своего неоконченного праздника. Пусть уж лучше он

уйдёт, она замедляла шаг, останавливалась, давая закату выгореть и погаснуть, прежде чем стукнет калиткой. А закат, словно догадываясь о её чувствах, тоже медлил, вначале горел в окнах и на цинковых крышах изб, потом на облаках, потом в самих розовых сумерках.

Когда Мария Васильевна минула пустырь и свернула в переулочек – закат погас, канул в мутную темень колхозного сада, и тотчас словно хлопнулось что-то в душе, погас и праздник, тоже канул в какую-то темень, будто и не было его. Она вздрогнула, испуганно ища взглядом свою избу, и та враз, как бы осознав неуместность игры в прятки, отозвалась, выглянула из сумерек ярко вспыхнувшим окошком. Хотя электрический свет вспыхнул разом по всему переулочку, Мария Васильевна увидела его отчётливо только в окошке над родным крыльцом. Выпрыгнул, будто на её зов, и приободрил, вселил уверенность, что праздник впереди, ждёт, дожидается её, точно письмо, спрятанное за рамкой с фотографиями.

У самой калитки встретила Людмила, подоткнув подол платья за пояс, выбежала выпростать таз с грязной водой.

– Мы уже и поужинали, и пол помыли, и занавески развесили, а тебя всё нет и нет. Всё где-то носит, – подражая матери и забавляясь своим подражанием, сказала Людмила и хохотнула: – Без ужина будешь, девка.

Мария Васильевна улыбнулась, но спросила со строгостью: все ли куры и ути? Людмила, пропуская её вперёд, кивнула и поинтересовалась: что о козе не справишься – поена ли? Они вошли в избу, тёплый дух только что истопленной печи ласково опалил их, Мария Васильевна радостно встревожилась, быстрым взглядом окинула кутник, она подумала, что коза Машка окотилась, что причиной всего этого тепла козлёночек.

На веревке, протянутой под потолком, Марьюшка, стоя на табуретке, развешивала бельё, Аннушка и Танюшка, отряхивая, подавали. Увидев мать, они старались изо всех сил, нарочно не замечая её. Опасаясь выдать себя,

прятали глазки, хмурились как бы полностью поглощённые серьезностью своего занятия. Мария Васильевна замерла, наперёд зная, что Танюшка не выдержит и всё же глянет на неё. Так и есть, зыркнула глазоньками, натолкнулась на её веселый взгляд и отвернулась, засмеялась Аннушке прямо в лицо. Теперь вдвоём глянули и, улыбаясь, заканючили.

– Ну чего ты, мамка, нам мешаешь!

– Молодцы вы у меня, работающие.

– Очень работающие, кабы не Марьюшка, они бы работали.

Людмила по обыкновению с весёлым задором стала рассказывать, какую они тут грязь учинили, как вывозились, готовясь к завтрашней бане. Так что это благодаря им пришлось срочно затевать стирку. Мария Васильевна и сама видела, что все они, кроме Людмилы, в нижнем белье, но и то верно, ежели платье одно – его вечером стирают, чтобы к утру высохло.

После уборки ужинали, дети по второму разу. Людмила ухватом вынула из печи чугунок с затирухой – мамкина порция, но Мария Васильевна сослалась, что где-то там на работе она уже ела, разлила болтушку детям, а сама только и выпила что кружку горячего смородинового чая. Она и в самом деле совсем не хотела есть и даже чай попила только для того, чтобы не привлекать к себе внимания и ещё надеясь уберечься от внутренней стылости, которая чем ближе приспевало время чтения письма, тем тверже схватывала грудь. Чтобы хоть как-то воспротивиться ей, Мария Васильевна, прежде чем вытащила конверт, постояла возле рамки с фотографиями – пожелтевшие снимки смотрели на неё совсем из другой жизни. Вот они втроём, Людмила в матросском костюмчике, острижена наголо, как мальчик, сидя на коленях у Степана, испуганно наклонила голову, а он, бравый, в новой косоворотке, мило так улыбается одними глазами. Себя Мария Васильевна рассматривать не стала, после этого у неё всегда пустеет сердце, будто та, в белом шарфе и жакете, похожая на

молоденькую учительницу, вытягивает всю её душу, не оставляя ей ничего.

Письмо читала Марьюшка, как обычно, стоя под электрической лампочкой посреди горницы. Привилегии читать письма она была обязана своей врожденной серьезности и строгости. Сосредоточенно-неприступная, она настолько проникалась чтением, так тонко улавливала нужную интонацию, что казалось, сама участвовала в написании письма. Впечатление её личного участия было настолько сильным, что Мария Васильевна всякий раз задабривала Марьюшку, припасая ей на этот случай какой-нибудь гостинец. Дорожка привилегией, Марьюшка не особенно пользовалась ею для корысти. Чуть-чуть повысит голос на Аннушку и Танюшку, затеявших спор из-за места на перевёрнутой табуретке, подождёт, пока все усядутся (Людмила на лавке с одной стороны стола, а мать – с другой, поближе к ней), и к письму. Она и сейчас, получив вместе с конвертом кусочек сахара, не обрадовалась ему, а осуждающе строго посмотрела на мать и безо всякого интереса положила его на стол, занялась письмом. Вначале она легонько постучала по нему сверху, посмотрела через него на свет, а уж потом только по пустой полоске чикнула ножницами, вскрыла. Всё это она проделала со свойственными ей сосредоточенностью и строгостью, так что Мария Васильевна, глядячи на неё, горестно вздохнула.

– Ты уж, Марьюшка, помягче... не своевольничай.

Письмо начиналось с приветственных поклонов и пожеланий доброго здоровья. Марьюшка останавливалась, давала матери время уяснить, от кого поклон. Только со второй страницы письмо стало понятно им всем. Дядя Федя писал:

«На днях сын Юрий приезжает из города, от военкомата учился на шофёра. Видел твоего Стёпку, он на базаре комодами торговал. Ты похоронку имеешь, а он комодами торгует, во, сватья, как!.. Юрка говорит: справный. Матрёна ездила, в чайную ходили... В сорок пятом выписался

из госпиталя, бухгалтершу хозмага взял. Я, – говорит, – воевал, медалей и ранений полный воз, орденом Славы отмечен. У меня, куда ни оглянусь, одна война кругом, всё загородила, кроме её, ничего не слышу, ни детей, ничего. У моей нонешней, – говорит, – так же, вот мы и вместе, а для Маньки я убитый. За то она и пособие на детей получает, убитый я, те её документы правильные. Ежели она не согласная, на меня нонешнего замахнётся, я с ей жить не буду, а алиментов с меня не очень, больше на дому столярничаю, инвалидный я.

Такие, сватья, дела. Матрёна кляла его, а он ничего, уставится в пол и молчит. “И меня для тебя нету?” Говорит: умом есть, вижу, а сердцем нету, пусто. И молчит, молчит... Она к нему три раза ездила, а ноне не пустил, хворать стала. Ну раз потерял себя человек... Сватья, тяжело оно, да адрес вот он... (Написал адрес, почеломкался.) Мария, Христом богом прошу, не езд, хватит, Матрёну извёл. Будь твой Стёпка живой, али бы не приехал к тебе?! Вот то-то... Фёдор».

Письмо оглушило. Марьюшка прочла, оцепенела. Анька и Танька на что дети, а тоже замерли, не шелохнутся, всё внимание на мамку. Мария Васильевна сидела, выпрямившись, положив руки на колени. Из-под белой косынки, стянутой на лбу в узелок, выбивались космы тёмно-русых волос. Работа, ежедневные хлопоты по хозяйству, нехватки отнимали всё её время. Проблески, конечно, были. Выберутся иной раз в баню, Людмила Марьюшку охаживает веничком, а она Аннушку и Танюшку оттирает, моет, потом выпроводят их одеваться, а сами с Людмилой улягутся на полке, отходят. Прильёт кровь к щекам, будто и не было войны. Выйдет в предбанник, отождёт волосы, дети уставятся: мамка это или не мамка?! Телом молодая, стройная, глаза словно синькой подголубила – голубые-голубые! Улыбнётся: уже оделись, – похвалит, – проворные вы у меня, и выпроводит туда, в зал. Присядет на лавку, Людмилу ждёт, а сама и не видит, что Людмила рядом обтирается полотенцем.

Ожившее тело своей памятью обогревает, обволакивает, и до того не хочется втискиваться в вылинявшие одежды, что невольно сожмется нутром и, словно натолкнётся на какой-то неодолимый предел, вдруг вздрогнет, очнётся и, испугавшись, заторопится – дел столько!..

Мария Васильевна и после прочтения письма вдруг вздрогнула: Людка, чего я говорила... живой он, живой! Подхватила: сию, а работы невпроворот!.. Но тело уже обмерло: ежели нет Стёпушки, зачем всё?! Обессилено тело, ступила Мария Васильевна два шага и, как подрубленная, упала на кровать. Казалось, что сейчас только коснётся подушки, так слёзы и хлынут и она выплечется, освободит душу – но нет, будто камнем взялось всё внутри. Дети попадали на неё – и в голос, мамка, не реви, мам-ка! Сообща, как в тот раз, когда похоронку принесли. Наверное, поэтому приблизилось ей, что ещё война кругом и это по её злой воле опять пришла та самая похоронка. Мария Васильевна медленно поднялась, дети примолкли, гляючи, как она рассеянно покрутила письмо и машинально, точно в беспамятстве, стала искать что-то, заглядывая то за рамку с фотографиями, то за портрет вождя, а то просто забывчиво шаря руками по своей плюшевой жакетке. Она никого не замечала и вела себя так, словно была одна в горнице.

– Ма, ищешь чего? – встревожилась Людмила. И Мария Васильевна, внезапно опомнившись, испуганно охнула: вот уж истинно вчерашний день ищет – прямо затмение какое-то. Она, конфузаясь, жалостливо попросила, чтобы дети постелили ей, она маленько приляжет возле обогревателя, а как только в голове прояснится – сейчас же встанет, дел столько.

Однако Мария Васильевна не встала ни сейчас, ни на следующий день. Всю ночь её знобило, даже в зыбком полусне она чувствовала, как со всего тела холод стягивается к сердцу и схватывается в комок, в грудь словно вложили кусок льда. Всякий раз перед новым приступом у неё отнимался язык и деревенели ноги, Мария Васи-

льевна ощущала их толстыми неподвижными колодками. В беспокойстве, словно бы силясь что-то вспомнить, она привставала, тревожно обшаривала глазами углы, стены. Людмила, карауля каждое её движение, наклонялась, помогала ей теснее придвинуться к обогревателю. Прижимаясь к тёплым кирпичам, Мария Васильевна чувствовала, как вместе с теплом в её сердце вливается острая режущая боль, которая, точно раскалёнными стрелами, впивалась в виски, наполняла голову пламенем. Она со стоном откидывалась на подушку, впадала в беспамятство. В бреду к ней возвращалась речь, а лицо и тело покрывались бурными пятнами и испариной. Мечась, она сбрасывала со лба влажное полотенце, прося Людмилу отослать ему его похоронку.

– Пусть получит, пусть! – болезненно напрягаясь, торжествовала она и, чутко вслушиваясь в робкие Танюшкины всхлипы, презрительно улыбалась, как бы ограждаясь своим презрением от кого-то невидимого и ненавистного.

К вечеру следующего дня на зелёном фургоне военной скорой помощи приехал из медсанбата врач. Открыв кожаный с глухими перегородками сундучок, он прежде мединструментов достал две плитки шоколада и пачку сухого печенья с выдавленным на печенюшках словом – счастье. Осмотрев Марию Васильевну, врач сделал укол и, подождав, пока она уснула, прощупал пульс. На улице, передавая сундучок пожилому усатому шофёру с погонями старшины, он сказал, что подобное наблюдал только на фронте, какой-то частный случай – все симптомы тяжелейшей контузии. Глядя на детей – выстроились на крыльце, молчаливо ловят каждое его слово, – преувеличенно приободрился.

– Главное – не волновать, тишина и покой.

Неуверенно пообещал:

– Через денька два на поправку пойдёт.

И опять повторил, что главное – тишина и покой, он ещё наведается.

Через два дня приступы и в самом деле прекратились. С работы пришли проведать Марию Васильевну Ефросинья Худяк и Валентина Пикалёва. Валентина вернула пятёрку, а Ефросинья трёшку, которую когда-то она якобы занимала, а в срок отдать запамятовала. Вообще все соседи и знакомые обязательно приносили какие-то забытые долги. На что начальник Дома офицеров, и тот ничего нового не открыл, на минуту заскочил на «Виллисе», привёз бумажный мешок макарон и несколько банок сгущённого молока и говяжьей тушёнки, которые тоже, оказывается, были вырешены Марии Васильевне за хорошую работу ещё в прошлом квартале, но всё не представлялось оказии доставить. Все продукты и деньги принимала Людмила и тут же передавала Марьюшке, под её строжайший учет. Анька и Танька, бегая по улице в новых обутках, полученных в школе, не скрывали своей радости, что мамка, внезапно заболев, разучилась ходить и говорить.

– Нам все столько много должны! – хвалясь, рассказывали они подружкам.

Одна Мария Васильевна не проявляла никакого интереса ни к соседям и знакомым, ни к их подаркам. На целые сутки она задумывалась о чём-то своём, а забота и внимание окружающих даже как будто докучали ей. Иногда казалось, что, кроме своих детей, она не узнаёт никого и одних людей принимает за других. Людмила и Марьюшка, точно малому ребенку, с трудом скармливали ей за день две-три толчёных печенюшки. Военный врач, требовавший тишины и покоя, самолично убрал шторы, а кровать пододвинул к окну, чтобы, как он сказал, сама жизнь расшевелила Марию Васильевну: жизнь для неё теперь – лучший лекарь.

И опять его слова подтвердились. Особенно заметно оживилась Мария Васильевна, когда окотилась коза и дети внесли в кутник на свежий золотистый подстил из пшеничной соломы двоих ещё влажных белолобых козлят. Один из них с чёрными круглыми пятнами вокруг

глаз, напоминающими очки, уже через несколько минут, шатаясь, вставал на разъезжающихся копытцах и, взбрыкнув, падал головой на своего братца. Настойчивость, с какою он поднимался и падал, как будто придавала силы и Марии Васильевне. Опираясь о стену, она впервые с помощью Марьюшки вышла на улицу, а потом с палочкой уже и сама добиралась до завалинки. Врач, застав её на крыльце, до того обрадовался перемене, точно это он сам сделал свои первые шаги. Речь тоже начинала возвращаться, с трудом, но уже можно было догадаться, что она просит воды или подбить подушку. Правда, успехи Марии Васильевны насколько обрадовали доктора, постепенно настолько же и встревожили. Он было хотел передвинуть кровать за занавески, но натолкнулся на полный отчаяния умоляющий взгляд, махнул рукой, дескать, ладно. Но, как и прежде, потребовал тишины и покоя. Уходя, он более обычного был шутив, вместе с Аннушкой и Танюшкой погладил козлят и не в пример первому разу обещал твёрдо: мать скоро поправится.

Его твёрдость, кажется, даже Марии Васильевне подняла настроение. И хотя, лаская взглядом козлят, она грустила, лицо часто озарялось тихой улыбкой. Глядя в окно, Мария Васильевна успокаивалась. Наверное, поэтому Марьюшка, надумав вслед за Людмилой сходить к подруге, строго-настрога наказала сёстрам сидеть дома, а матери – больше смотреть на улицу. Аннушка и Танюшка ей не перечили, имели свой интерес. Как только они останутся одни – мать сейчас же часть сластей отдаст им. Так и случилось. Едва за Марьюшкой закрылась дверь, как мать подозвала их к своей табуретке, на которой лежали печенье и кусочек шоколада. Аннушка и Танюшка вначале отнекивались, но мать одну и другую так ласково погладила по голове, показав глазами, что будет смотреть в окно, сторожить Марьюшку на тот случай, если она вернётся, что они согласились, но пока только на шоколад.

Делая уроки, дети изредка поглядывали на мать, готовые тотчас мчаться на её зов, но она повернулась к

окну, лежала тихо, словно уснув, и они позабыли о ней. Мать сама напомнила о себе. Аннушка и Танюшка, поспорив из-за чернильницы (каждая норовила подвинуть её поближе к себе), услышав стон, пронзительный, точно окрик, поначалу приняли его на свой счёт, но потом, увидев, что мать приподнялась и не отрывается от окна, подумали, что это она предупреждает их о возвращении Марьюшки. Но нет. С длинными гортанными звуками, сиюсья преодолеть немоту и в конце концов захлебываясь ею, она, побагровев, в волнении стала размахивать руками и громко стучать в окно, как будто старалась отстраниться от него, но почему-то опять к нему притягивалась.

Стукнула калитка, Аннушка и Танюшка увидели директора школы Михаила Михайловича Дундина. В серой обвислой шляпе и длинной потёртой кожанке, расстёгнутой на все пуговицы, он недовольно крутил головой, словно бы высматривал хворостину. Занятый своими мыслями директор школы не обращал никакого внимания на суматошные, полные ужаса звуки Марии Васильевны. Анька и Танька, не понимая взываний матери, испуганно нырнули под стол. Негодуя, Мария Васильевна вскочила с кровати, нечаянно опрокинув табуретку, – ей пригрезилось, что её Степан вернулся. Но в тот самый миг, когда Михаил Михайлович вошёл в горницу, она узнала его, в смятении пошатнулась, отчётливо чувствуя, как под ступнёй что-то мягко хрустнуло и жгуче ударило в сердце. Она застонала, сиюсья понять: что это? Но не смогла – для неё всё кончилось. И только детям, в страхе затаившимся под столом, было видно, что это хрустнула раздавленная печенюшка...

День возвращения

Татьяне Ивановне Бойко, жене председателя колхоза «Власть труда», приснился сон. Пропалывая картошку, она услышала испуганный щебет ласточек и, ненароком взглянув на избу, обмерла. Клубы дыма, впрессованные в нависшую над трубой тучу, изба, раздуваясь, втягивала, точно насос. Стены и крыша лопнули, из распахнутых окон и трещин вырывались тугие змеистые языки, похожие на шевелящиеся щупальца.

– Господи, Вася! – горестно вскрикнула Татьяна Ивановна и, обессиленно осев на грядку, проснулась.

Припоминая подробности, она не испытывала ни страха, ни слабости, а лишь досаду: изба взнялась, а она – Вася! Гляди-ко, прибежит... Татьяна Ивановна не могла себе простить растерянности даже во сне.

Посапывание детей, мерное тиканье ходиков, воздушное движение лунного света, залившего горницу и обласкивающего своим прикосновением грубые половицы, – всё это предстало ей таким неизъяснимо хрупким, что, вместо того чтобы утешиться, она вдруг всхлипнула. Она плакала молчаливо, без слёз, без горечи, не ведая и не помышляя о другой участи. Её мысленному взору представлялись: осенний сеющий дождь, словно туманом заволокший огороды и сопки. Муж – худой, жёлтый, в разбухшей шинели, не по размеру большой, будто с чужого плеча. И люди – размытыми тенями поджидающие на свёртках, а потом молча хлюпающие следом в пропитанных пушечным маслом чунях.

Они ехали на железнодорожную станцию на одной подводе всей семьёй. Дети, приспособив пустые мешки под плащ-капюшоны, правили подслеповатым меринком, а она незаметно поддерживала его, сердито нахолившегося в своём болезненном негодовании. Когда вывернули на большак, увязалось особенно много народа. Замыкал шествие колхозный бычатник дед Тимченков,

прогуливавший племенного быка. Закинув руки назад и задумавшись, он шёл как бы сам по себе, не подозревая, что ведёт тяжёлого угрюмого симментала, грозно позвякивающего двойной цепью.

– Куда он, куда он его? Он же половину колхоза стоит! – нервно вскидывался Василий Аксентьевич и тут же, словно вспомнив, что всякий день находил минуту, заскакивал в бычатник полюбоваться породистостью быка, затихал – убажуют...

На станции опять вскинулся.

– На погост провожаете?! А я обязательств не давал, нет... Москва, она столица, она не выдаст... Я ещё оклемаюсь, я ещё вернусь.

Василия Аксентьевича затрясло в беспричинном гневе. Его и в вагон внесли трясущимся, точно в лихорадке. В последний момент выглянул из окошка, вылупато посовьи взглянул разом на всех.

– Оклемаюсь, живой вернусь, – прокричал, будто угрожая, и исчез; демобилизованные морячки вынырнули, весело пообещав доставить флагмана в целостности и сохранности прямо в Кремль.

Никто не верил, что Василий Аксентьевич поправится, но на отчётно-выборном собрании на все доводы уполномоченного райкома – переизбрать председателя ввиду болезни – колхозники неожиданно дружно заартачились.

– Нехай остаётся, у нас к Аксентьевичу притензиив нету, он в болезни не виноватый. А на место председателя врио имеется, пусть пока покомандует, а там видно будет.

Татьяна Ивановна тоже не верила, что муж поправится. То есть в глубине сердца она никогда не сомневалась, что поправится, но здесь, в миру, где житейскую ношу мужа надо было нести изо дня в день одной, она не верила, не позволяла верить. Она полагала, что для этой ноши родилась и её не опрокинешь с плеч, не опрокинув судьбы. Поэтому сон и расстроил её, получалось, будто

она ждёт мужа для какого-то своего облегчения. Нет-нет, Вася, она судьбой довольная.

Глядя на трепетного лунного зайчика, шаловливо прыгающего с одеяла на руку, Татьяна Ивановна вспомнила, как вчера, вся счастливая и запыхавшаяся, прибежала из конторы её старшая дочь Галина.

– Прыгайте, завтра папка приедет!..

Татьяна Ивановна вздохнула, и сад словно бы отозвался, тоже вздохнул, зашелестел листьями и смолк, будто прислушивался к далёкому рокоту машин, укатывающих полотно аэродрома.

Всё же бабская доля полегче мужицкой. У них, у баб, всё сызмальства определено: дети – всё вокруг них, а потому ничего лишнего. А мужик?! Всю-то жизнь он, точно малое дитя, колготится, не ведая своей натуры, а и визнает – по-своему ребячьему капризу может себе же назло пустить. Не умеют мужики думать телом, постыдное им сказывается в нём, а всё потому, что тело их не родит, как пашня, не дано им. Мы, бабы, счастливее...

Тополя за окном вспыхнули, пролились серебром, холодным, как и всякий металл, и ветер, уже не останавливаясь, широким захватом побежал по огородам и улицам, зашумел, торкаясь в ворота и ставни. Сейчас враз всю живность пробудит. И точно: на колхозном дворе заблеяли овцы, ударили петухи, нехотя залаяли собаки, не злобливо, только чтобы оповестить, что бодрствуют, а стало быть, и хозяева тут, нечего зря тревожиться.

Татьяна Ивановна тихо поднялась – пора на дойку. Разожгла печь, выстоявшиеся за ночь берёзовые поленья полыхнули, зашипели в кольцах скручивающейся бересты, пахло теплом и древесной смолой.

– Ма, ты встала?! – певуче, сквозь сон, спросила старшая дочь, и Татьяна Ивановна, вспомнив себя об эту пору, ласково улыбнулась, понимая, как сладок и желанен сон, когда мать **порает** у печи. И, уже не боясь разбудить детей, стукнула чугунком, пододвинула поближе к огню

и вместе с ухватом будто выхватила из полымя давно забытую материнскую присказку.

– Спи-спите, у нас ноне в печурочке золотые чурочки.

Сказала и усмехнулась своей внезапной памятью, и утвердилась в догадке: мы, бабы, счастливее.

Хозяйничая у печи, Татьяна Ивановна напрочь позабыла о дурном сне, о тревогах, им навеянных, и даже о том, что на сегодня она от работы освобождена. Близящаяся встреча с мужем больше не томила её, она ждала его через ожидание детей, и радость встречи, точно отражённый отблеск огня на стене, бурлила в душе хотя и неярко, но ровно. Звякнув подойником, едва не выронила его, так внятно, будто над ухом, прозвучал надтреснутый голос учёщицы Людмилы Краюхиной (дородной и толстоногой, зимой и летом не снимающей солдатского бушлата и сапог со вставными клиньями на голенищах).

– Назавтра ты, Татьяна, от дойки освобождённая, встречай своего кормильца, нашего председателя, – сказала и весело, со значением глянула на доярок. – Что, девоньки, спроворим без неё? – и, не дожидаясь согласия, заключила как давно решённое: – Спроворим, ещё и на чарку заглянем, так что ты уж того – ...товсь.

Василий Аксентьевич приехал в обед и, как всегда, неожиданно. То есть его ждали, дети заучили расписание всех проходящих поездов и, загодя, услышав паровозные гудки и нарастающий, точно обвал, стук колёс по железнодорожному мосту, спрыгивали с подводы, выбегали на перрон. Однако приближение московского скорого проворонили – всё равно напроход пойдёт до Манзовки, там у него остановка. В самый последний момент Татьяна Ивановна спохватилась: мало ли?! Шумнула детям выбежать. Мерин, воспользовавшись, что не до него, тоже потянулся к перрону, точнее, к кирпично-красной водокачке, круглой, будто гигантский гриб, выросший посреди весенне-сочного лужка пырея. Татьяна Ивановна на какой-то миг замешкалась, броси-

лась наперерез – и вовремя. Резкий, почти свистящий гудок паровоза, слившийся со стуком вхолостую прокручивающихся колёс, гулко прокатился рядом, накрыв облаком пара и её, и подводу, и всё-всё вокруг. (Она даже толком не поняла, что поезд останавливался.) А когда облако рассеялось и где-то там, за спиной, ещё громыхали удаляющиеся вагоны, она увидела его: худощего, как щепка, в распахнутой шинели, с вещмешком в руке, пугливо озирающегося, будто спрыгнувшего не на своём полустанке.

Дети, мал мала меньше, рваной стайкой неуверенно кинулись к нему и тут же в сомнении смущённо остановились. Татьяна Ивановна почувствовала, как внутри всё вздрогнуло, и сразу ноги ослабли так, что она, чтобы не упасть, вынуждена была привалиться к лошади, уткнуться лбом в её жёсткую гриву. «Всегда-то он ничего не видел перед собой, всё ему колхозное роднее родных детей». И хотя она понимала, что несправедлива – капризничает, на душе полегчало, она даже улыбнулась, увидев, как неумело он пытается приласкать детей, а они вёртко ныряют у него под руками, хватаясь за полы, тянут во все стороны, будто с намерением повалить.

Домой ехали не спеша, дети, рассевшись на расстелённой на объездах шинели, правили меринном, а они сидели, свесив ноги: поглядывая на дорогу, на избы, раскиданные вдоль по большаку, вдыхая речной запах первой зелени и уже стойкого сухого тепла, то набегающего с полей, то отвесно падающего откуда-то сверху, будто трель жаворонка.

Он, щурясь, смотрел на солнце, на сопки, на равнину пашен и пойменных лугов, смыкающуюся с горизонтом, и Татьяна Ивановна, невольно повторяя его, тоже смотрела. И всё было таким родным, близким, с каких-то таких пор, когда, наверное, не было ещё ни его, ни её самой. Но что-то связанное с ними, конечно, уже было и тогда. Она взглянула на детей, заворожено оглядывающих пажити, и удивилась понятливости сердца. Желан-

ность была, а уже потом всё-всё вокруг и сама Земля. Мы все желанные здесь. Она незнаемо зачем взяла его лёгкую истончившуюся в болезни руку и прижалась щекой, чувствуя, как тяжелеют глаза, увидевшие то, что прежде открывалось только сердцу. Он руки не отнял, но и её волнения как будто бы не принял, смотрел окрест задумчиво и спокойно каким-то верхним рассеянным взглядом, и лишь борозда шрама вокруг шеи налилась, побагровела.

– Вась, может, не браться тебе за это председательство?

Он ничего не ответил, легонько высвободил руку, а когда на свёртке их встретили колхозники, воспрял, приободрился, забыл гимнастёрку натянуть, в натальной рубаше спрыгнул... и начались рукопожатия, взаимные похлопывания, шутки. Потом, взяв лошадь под уздцы, поставил в тенёк у амбара – он приехал. Подходили ещё люди, тесня друг друга, располагались поближе к председателю – это ж сколь не виделись, считай с Покрова!

Слушали Василия Аксентьевича с интересом, в особенности рассказ об операции, о том, что он, Василий Аксентьевич, своим примером помог науке, прославил весь Дальний Восток и, конечно, колхоз «Власть труда», шутка ли – первому в стране удалили щитовидную железу, притом без наркоза и, вишь ты, врач-хирург девять лет жизни гарантирует, и это так, без напуска, по теории, а по нормальной практике её, гарантии, на все пятнадцать хватит, научно-исследовательский институт потом вызовет Василия Аксентьевича в Москву и дополнительно определит ему рабочий запас.

Рассказ трогал, поднималась классовая гордость: нас в городе колхозниками навряде как обзывают – земля, темень, а мы-то совсем другое, мы – свет. И хотя от Василия Аксентьевича никто слова не слышал о мытарствах, уже по одному тому, что его Татьяне, при такой-то ораве детей, пришлось свести на продажу корову, догадывались и о них. А потому всякую его промашку на себя при-

меряли с ревностью, сокрушались, вздыхали, не находя выхода, но и удача если выпадала ему – до слёз смеялись, радовались, а дед Тимченков по своему обыкновению постукивал батошкой – во-во, пусть маленько помнят нас, пусть помнят.

Татьяна Ивановна не принимала участия в разговоре, но само её присутствие помогало, втягивало в него баб. Лузгая семечки, они образовали свой круг, который с приходом учёткицы Людмилы Краюхиной, бабы хваткой и острой на язык, стал вроде бы как заглавным. Осаживая баб, мужики ссылались на тяжёлую внешнюю обстановку. Получалось, что падёж скота – это прежде всего результат происков чуждых элементов и империалистов, скрывающихся за железным занавесом. Угадав в грозных словах повадку Гошки Парамонова, которого ныне даже дети называют не иначе как «ври-а», подразумевая, что он горазд врать, бабы и вовсе захватили инициативу.

– Каждый день у нашего «ври-а» новые распоряжения и указания, ещё одного не справишь, а он уже другое поворачивает.

Неведомо что заставило бы баб охолонуть, не случись колонны грузовиков, гружённых полосами строительного железа. На какое-то время громыханье и лязг прицепов прервали разговор, а потом и переменили – аэродром строят.

– Эх, один бы такой возок нам на кузню! – с горечью сказал Василий Аксентьевич.

И теперь все, глядя на грузовики, выворачивающие в сторону гарнизона вслед за головной зелёной эмкой, зеркально взблёскивающей на солнце никелем бампера и колёсных тарелок, невольно приценивались: как оно... если бы один возок на кузню.

То ли виною разговор о недостатках, которые, если верить Гошке Парамонову, вовсе не недостатки, а крутые ступеньки для победного шествия в светлое завтра, то ли ещё что, но внезапно вырвавшаяся горечь мужа встревожила Татьяну Ивановну. Вспомнились: мечу-

щиеся ласточки, тяжёлые клубы дыма, впрессованные в нависшую над трубой тучу, и крик – «Вася», от которого вздрогнула, точно от оклика, и испугалась, уверенная: это оклик беды. Предчувствуя недоброе, Татьяна Ивановна подозвала старшую дочь и, наказав собрать детей, затеявших догонялки вокруг амбара, ловила минуту, чтобы напомнить мужу, что пора домой. Но, видно, не минёшь уготованного.

Грузовик, замыкавший колонну (порядком отставший), выворачивая на шоссе, взял нерасчётливо круто, прицеп подкинуло, крепление лопнуло, и полосы железа, со скрежетом грякнув, свалились частью в кювет, а частью на обочину, издали напоминая рисунком гусиное крыло. Вылезли шофёр с напарником (оба старшины), беззлобно ругаясь, обошли машину, закрепили стойки прицепа и уехали – потом вернуться с солдатами, заберут. Не успели скрыться, а Василий Аксентьевич уже зажёгся, торопливо натягивая гимнастёрку, потребовал немедля собрать металл, стаскать на кузню, благо рядом, за амбарами. Поддавшись его настроению, мужики повскакивали с мест, но дед Тимченков как припечатал: диверсия!

Татьяна Ивановна, всё это время старавшаяся упредить беду, увидев, что мужики враз растеряли решимость, замялись, оглядываются друг на друга, кинулась к лошади: давай подводой! Страх за мужа, что он останется один, преобразил её. Потянув вожжи, она, точно парубок, стоймя вскочила на телегу и, рывками горяча мерина, погнала к просыпанному железу. Её почин будто подстегнул всех – ах ты, мать честная, мужики мы аль не мужики?! На руках, на подводе, за полчаса прибрали металл, будто и не было его, будто корова языком слизнула. Дед Тимченков и тот принял участие, вместе с детьми приволок кусок швеллера.

– Однако зелёная эмка подъехала, смотрют, выискивают, а мы с ребятнёй задами, нас не высмотришь, – весело похвалился дед, и все враз насторожились:

– Зелёная?! Должно – головная, генеральская... Быстро она... А что ей – порожняком? Ей и до райцентра – десять минут...

Райцентр упомянули так, по ходу, как ближайший населённый пункт, а упомянув, смутились: районное начальство там, милиция.

– Ничего, мы металл не прячем, вон он весь, – сказал Василий Аксентьевич, кивнув на аккуратно сложенный у стены штабель. – А за сохранность нам обязательный процент положен, не бойсь, мужики, подождём.

Ждали всем составом на молочно-товарной ферме, потому как здесь был единственный телефон в округе. За разговорами час прошёл, второй – никого. Притомились. Надо бы Гошку Парамонова оповестить, дети вот только что, распрягая мерина, видели его на конюшне, вызвались привести, получилось, что кстати. Открывает дверь, звонок из райкома – первый секретарь Волошин Иван Сергеевич. Растерялись: кому трубку, два председателя налицо? Выручил Василий Аксентьевич: давай, Георгий...

Иван Сергеевич говорил громко, отрывисто, каждое слово – главное. Его густой придавливающий бас слышался отчётливо и ещё как-то неправдоподобно. Казалось, что секретарь, во много раз уменьшенный, находится среди присутствующих – у Георгия Парамонова под фуражкой. Вначале поинтересовался ходом лесозаготовок, потом справился о посевной, особенно упирал на посеы сои. С надоем на фуражную корову выскочил сам Гошка, по этому показателю колхоз шёл первым. Однако секретарь остановил – сводки он читает регулярно.

– Кто у вас там металл растащил? Военные рассыпали, а вы воспользовались, подмели. Вы понимаете, чем это пахнет?

В трубке щёлкнуло, точно на другом конце провода взвели курок. Гошка суетливо оглянулся, ждал разъяснения, но никто не ответил, тишина, каждый был занят своей мыслью.

– Нет, Иван Сергеевич, мне ничего неизвестно, но я немедленно разберусь и доложу.

Гошка хотел было переминуться с ноги на ногу, рыпнул сапогом и, испугавшись своей непростительной вольности, замер – на полусогнутых.

– А что, Бойко уже вернулся?

– Да, сегодня.

Иван Сергеевич приказал им вместе с Бойко находиться, так сказать, на месте преступления, он выезжает.

Кузня и столярка размещались под одной крышей в деревянном приземистом строении, которое можно было бы принять за амбар, если бы вокруг не громоздились побитые ходки, бестарки, сани, веялки и прочий поломанный сельскохозяйственный инвентарь, напоминающий здесь в некотором роде покинутое поле боя. Оба помещения разделялись глухой стеной и имели наружу отдельные двери. В столярку – двустворчатые, широкие, как ворота, при нужде – закатывая внутрь параконную телегу, а в кузню – обыкновенные, обитые железом и почти всегда настезь распахнутые. Несмотря на преимущества, помещение столярки считалось подсобным, при кузне. И главным человеком предприятия почитался не дядька Митяй, искусный столяр, всегда в картузе и с карандашом за ухом, тихий, ссутулившийся, не расстающийся с сигаркой самосада, а Алексей Знова. Рослый, широкоплечий – лямки прорезиненного фартука крест-накрест на голых бугристых лопатках. Волосы и усы чёрные как смоль, зубы вот только малость поржавленные, а то хоть на плакат – сельский рабочий класс. Весомое преимущество в пользу Алексея Зновы, тем более что наделил его им сам Иван Сергеевич Волошин, в присутствии местного начальства сказал об этом и самолично похлопал Алексея по плечу, одёрнув на нём прорезиненный фартук.

Прослышав о приезде секретаря, народ ожил, задвигался и, хотя приказанию Гошки Парамонова – разойтись по рабочим местам никто как будто не возразил, уходить не торопились: что скажет председатель, как он?..

– Верно, хлопцы, давайте, а то не успел приехать, а уже сбил своим приездом, – сказал Василий Аксентьевич и, скрывая тревогу, весело посмотрел на колхозников, обещающая взглядом, что всё будет в порядке.

Татьяна Ивановна, ставшая едва ли не главным застрельщиком доставки просыпанного металла к кузне и потому чувствовавшая особую душевную приподнятость, сейчас невольно подсадовала на мужа, что он поддержал Парамонова. «Ну что он, точно двухлеток, заступает свои постромки», – подумала она и неожиданно воспротивилась ему:

– А кто ты такой, чтоб указывать?! В колхозе обчество коллективно решает.

Сказала и смутилась, но, увидев, что Георгий Парамонов уже воспользовался разногласием, уже принялся за увещевание, стараясь более всего обозначить им не примирение, а своё старшинство, осадила и его.

– Не шибко старайсь, Георгий Иванович, секретарь-то поумней будет, мы его хотим послушать.

Отчаянность Татьяны Ивановны словно разбудила баб. Людмила Краюхина со свойственной ей бесцеремонностью махнула рукой:

– Да что их слушать, айдате, мы и сами найдём дорогу на кузню!

Она настезь распахнула дверь, и колхозники, подчиняясь общему настрою, всем собранием вывалили во двор. Однако к кузне пошли не всем обществом и не прямой просёлочной дорогой, сворачивающей за амбарами к большаку, а потекли через дворы и огороды, каждый своим путём, намереваясь попутно оповестить о сходе сельчан – шутка ли, из-за просыпанного металла секретарь едет, скандал... Глядя на деда Тимченкова, торопливо засеменившего мимо бычатника в сторону овощеводческой бригады, Татьяна Ивановна усмехнулась: народу на кузне бу-удет!..

Она стояла в окружении своих детей: трёх подростковых дочерей, тонких и длинношеистых, и троих сыновей

поменьше, погодок, держащихся за руки и молчаливо поглядывающих по сторонам, а люди всё подходили и подходили. Даже директор школы Леодор Васильевич Топорков пришёл, вместо приветствия растерянно покивал всем и, опершись на ковинку, замер. Задумчивый и подавленный, он ни с кем не заговаривал, стоял отчуждённо, словно бы провинившийся, и Татьяна Ивановна, невольно отозвавшись на его растерянность, вдруг поновому восприняла сход, теснее придвинулась к детям и тоже задумалась.

Алексей Знова, обеспеченный металлом, старался – весело вызванивал его молоток. Выныривая из дверного проёма, Алексей взмахивал длинными щипцами, и красная с синими тенями подкова плашмя шлёпалась в железную, наполненную машинным маслом бочку. Масло взбулькивало и, пыхнув коротким дымком, стояче качнувшись, застывало.

Георгий Парамонов и председатель пришли вместе. Георгий сразу начал с упрёков и угроз, но, натолкнувшись на людскую стену, пошёл на попятную – пусть никто не думает, что мы не можем сказать, можем и скажем, если надо, и своё «да», и своё «нет». Сложилось впечатление, что Гошка, хотя и не принял сторону председателя, против – не пойдёт.

Перед Василием Аксентьевичем мужики расступились – давай сюда. Подвинулись, уступили место на перевёрнутой бестарке – слышал, нашего племенного быка хлопочут в Хороль, на выставку?!

Бабам не понравилось, что председатель, не взглянув на свою Татьяну, сразу подсел к мужикам: ишь ты, козыряет?! Стоя за её спиной, они недовольно зароптали, всячески выказывая, что с детьми *она* здесь главная, а не он. В ответ мужики громко зашикали, но и обрадовались, что Василий Аксентьевич, словно бы и не было выпада, весело начал рассказ о ВДНХ. Конечно, он взглядывал и на неё, и на детей. И по тому, как они теряли скованность, оттаивали, он и сам розовел лицом, улыбался. И хотя

вскоре он уже владел всеобщим вниманием, по украдчивым взглядам угадывал, что невидимые нити ведут и к ней, его жене.

Татьяна Ивановна стояла, обхватив плечи, отсутствующе глядя перед собой. Она была глуха к взрывам смеха и в то же время, когда, забываясь, прыскали дети, усмехалась. Сейчас ей не нужно было смотреть – чтобы видеть и слушать – чтобы слышать. Всё окружающее, вся близь и даль слились в её сердце: вот он, вернулся к ней, а объясняется в любви к ним. Вот они, любят его, а чувствами с нею – дети! Она облегчённо вздохнула: дети, не понимая, понимают всех. Она придвинулась к ним, к родным головкам – всё, что он делал и делает, он делает для них, для детей. И стало быть, прав, и стало быть, он – для всех. Она вздрогнула, младшенький растолкал сестёр, крепко ухватился за её юбку, насупился.

Секретарь приехал на раскрытом «Додже», как всегда – в полувоенном защитного цвета кителе, наркомовской фуражке, тёмно-синих галифе и зеркально начищенных хромовых сапогах. Не ожидая встретить столько народа, в удивлении замешкался, словно бы проверяя – на месте ли, потрогал тёмно-русые пробитые сединой усы, громко поздоровался со всеми и, повелев шофёру маленько отъехать, направился к мужикам.

Иван Сергеевич Волошин, в прошлом сучанский шахтёр и партизан, любил бывать на колхозных кузнях – знал в лицо всех кузнецов района. Сейчас, услышав весёлое вызванивание молотка, остановился, полное одутловатое лицо подобрело – вот он, сельский рабочий класс... Алексей Знова, словно почувствовал, что вспомнили о нём, нарисовался в проёме, швырнул подкову в бочку.

– Здравствуйте, Иван Сергеевич!

Секретарь махнул Алексею, чтобы подошёл, но он нырнул обратно. Показалось, не понял знака. Но он тут же опять вынырнул, вытирая руки ветошью, улыбался.

– Наказал подручному поддерживать огонь – производство.

Волшебное слово для Ивана Сергеевича, задержал руку Алексея.

– В том-то и дело, что производство, оно не отпускает рабочего человека, всего захватывает, не то что там...

Кивнул на мужиков:

– Пока колоски растут – можно собраться, посудачить.

Интонация была неуловимой: то ли шутит секретарь, то ли упрекает? Алексей решил, что шутит, засмеялся.

– Так-то оно так, но все наши труды ради них.

– Ради них и на преступление можно пойти, – сказал секретарь, и опять неуловимость: то ли спросил, то ли подвёл итог.

Колхозники насторожились: чего ждать? Увидев, что секретарю никак не минуть Татьяны Ивановны – будто совесть со своими детьми на его пути, приободрились: вот и прояснится сейчас. Однако Иван Сергеевич, хотя и узнал Татьяну Ивановну, и сразу догадался, почему жена председателя здесь с детьми, глянул на неё вскользь, издали, а когда проходил возле, слегка подтолкнул Алексея – отгородился, получилось, что не заметил её. Уловка секретаря как-то нехорошо задела всех, почувствовалось, что поблажки не будет, да если так-то – то она и не нужна никому. Секретарь уловил холодную перемену в людях, отбросил двусмысленность, отвердел взглядом.

– Как понимать, Георгий Иванович, это же форменный грабёж среди бела дня – инициатора надо судить.

Татьяна Ивановна невесело усмехнулась.

– Так оно ежели судить, то, однако, всех придётся, весь колхоз, – переступая с ноги на ногу и опираясь грудью на палку и опять отстраняясь от неё, заметил дед Тимченков.

Во всей его фигуре было что-то суетливое, прыгающее, даже не верилось, что с быками управляется тоже он, всегда спокойный и чуть-чуть медлительный.

Замечание деда внесло разрядку, горьковатую, но всё же... мужики зашевелились, секретарь повернулся к Алексею Знова.

– Сейчас приедет Стрешнев, начальник милиции, что ему ответит сельский рабочий класс – где взял железо?

Алексей пощипал свой ус, выпрямился.

– Отвечу: всегда было. Скажу: вишь, сколь отремонтировать всего навезли, а так не бывает, чтоб отремонтировать было что, а чем – не было.

Секретарь неестественно улыбнулся. Колхозники, пряча откровенно повеселевшие лица, опять зашевелились – именно так всегда было и так есть. Георгий Иванович, стараясь не упустить благоприятной минуты, подскочил к секретарю, ему показалось, что он маленько помягчел.

– Иван Сергеевич, прикажите только, немедленно снимем подводы с овощной бригады и доставим железо в полной сохранности куда следоват.

Он замер, весь заострившись, точно охотничий пёс в ожидании сигнала хозяина, готовый бежать, исполнять приказание. Однако бежать не пришлось, неожиданно подал голос Василий Аксентьевич.

– Пустое это.

Он встал. Татьяна Ивановна догадалась, что он слегка нагнул голову, чтобы не выказывать покрасневшего шва вокруг шеи, чересчур уж наглядно выдаёт его волнение. А со стороны показалось: из-за заносчивости, мол, председатель здесь – он.

– Ежели мы повезём металл – получится, будто мы его украли. А мы его взяли на обочине как бесхозный. Нам за его сохранность и возвращение в строй определённый процент полагается. Не повезём мы его никуда, у нас подвод не шибко-то... Ты, Георгий, – шли, сам говорил: запурхались овощеводы. И у них намерен транспорт отнять?! Не пойдёт, пока я член правления – я против.

– В том-то и дело, Василий Аксентьевич, что ты не в правлении. Неужто тебе не сообщили? – игриво, точно о пустяке, справился секретарь.

Василий Аксентьевич ничего не ответил, коротко взглянул на Парамонова, медленно сел... Тягостное мол-

чание снова нарушил дед Тимченков, сердито выступил из общей массы народа.

– А Гошка-то, Гошка наш... чой же он робит?! – придиричливо повернулся к Парамонову, в глазах блеск, то поднимет свой ботажок, то с силой оземь, совсем осерчал.

– Ай-яй, Гошка-Гошка, приказы посередь бычатника прилепливаешь – правление, а живого председателя раз, однако, молчком переступил. Ай-яй, Гошка-Гошка!..

– Погоди, дед, – встрял Алексей Знова. – Заладил: Гошка-Гошка!.. Не было в правлении разговору о выводе Василия Аксентьевича. Как был председателем, так и есть, а Георгий Иванович – врио председателя, то есть временный, до возвращения Василия Аксентьевича сполняющий его обязанности.

Твёрдость, с какою Алексей (сам член правления) возразил деду, убедила его. Теперь всё внимание на секретаря – как понимать сказанное?

– Ну коль рабочий класс утверждает, что разговору о выводе не было, стало быть, запомятовал... Стало быть, с возвращением, председатель.

Секретарь подошёл к Василию Аксентьевичу, но руки не пожал, не успел, отвлекла зелёная эмка, зеркально сверкающая никелем бампера и колёсных тарелок. Подворачивая к «Доджу», качнулась на яме, солнечный луч полыхнул в стёклах и сгас. Глядя на легковушку, все враз признали в ней ту, военную, что шла впереди гружёных грузовиков. Хотя секретарь как будто предупредил, что подъедет Стрешнев, всё же появление начальника милиции неприятно удивило. Выскочил из машины, открыл переднюю дверцу.

– Михаил Давидович, приехали.

Стройный, подтянутый, в талии гибкий, в движениях точный и цепкий, он словно бы излучал волны физического здоровья и какой-то озорной молодцеватости.

– Ээ, дарагой, Андрюша, зря бэспакоился, металл на месте, всё на месте, – из кабины вылез крупного телосложения мужчина в светло-зелёном мундире и такой же

фуражке с чёрным околышем. – Гамарджоба! Здравствуй-те, хорошие люди.

Грузность военного, акцент, как бы намекающий на родство с вождём, и, конечно, добродушие, исходящее от всей его крупной и медлительной фигуры, тотчас заставили сельчан поверить: да – полковник, да – грузин, этот не выдаст, нет. Василий Аксентьевич встал с бестарки, следом встали мужики, невольно выстраиваясь по обе стороны от него в неровную шеренгу. Бабы почти вплотную придвинулись к мужикам, оставили Татьяну Ивановну одну с детьми. Секретарь умышленно загородил её.

– Всё и все на месте, Михаил Давидович, а металл не отдают, – улыбнулся он.

Его улыбка тут же как бы продлилась на лице начальника милиции.

– Наверное, оно ихнее, – предположил Стрешнев, не скрывая весёлого ехидства.

– Нет, оно не наше, но за сохранность нам положено вознаграждение, мы его частью из кювета взяли, – сказал Василий Аксентьевич, в своей новой манере слегка нагнув голову.

– А, вознаграждение, – с неестественной весёлостью изумился Стрешнев, и его тёмно-синие широко поставленные глаза отуманились, стали светлее и выразительнее. На гулянках просто с ума сводит девчат эта их выразительность. – Будет вознаграждение, обязательно будет, – словно бы проникаясь внезапным озорством, пообещал начальник милиции и, не отрывая взгляда от Василия Аксентьевича, поправил кобуру, пробежал пальцами по кожаному поводку, пристёгнутому к рукоятке нагана.

– Э-э, дарагой Андрюша, правильно говоришь, правильно, – пристально, с каким-то особенным значением посмотрел на него полковник и, оттеснив, подошёл к Василию Аксентьевичу. – Председатель, из Москвы?..

На вопросы полковника, опережая Василия Аксентьевича, отвечали колхозники и в большинстве директор школы Леодор Васильевич Топорков. Выяснилось, что

председатель только что с поезда, ещё дома не был. Что ему первому в стране удалили щитовидную железу – врач гарантирует девять лет жизни. Что с детьми – это жена Василия Аксентьевича, ей пришлось продать корову, чтобы выволить мужа из Москвы.

Полковник в сопровождении секретаря и начальника милиции подошёл к Татьяне Ивановне. Она покраснела, румянец залил шею, руки. Дети отступили назад, она сама, словно бы защищая, оттеснила их. Полковник взял её руку.

– Здравствуйте, замечательная Татьяна Ивановна. Это всё наши солдатики виноваты. Даю слово, что весь этот металл останется в колхозе, а взамен – пусть все ранние овощи колхоз продаёт прэжде всего в наши гарнизонные столовые.

Он поцеловал ей руку – её круглые щёки заалели, точно яблоки. Глядя на неё, дети смущенно опустили головы, невольно разделяя её волнение.

– Приглашай, Татьяна Ивановна, на застольную встречу с твоим любэзным Василием Аксентьевичем.

Не выпуская руки, повел её к легковушке. Дети отстали, а потом поняли... кинулись к машине. Проходя мимо Василия Аксентьевича, Татьяна Ивановна, хотя и зарделась пуще прежнего, голову горделиво подняла, в фигуре появилась ладность, осанистость.

– Татьяна Ивановна, а нас что же не приглашаешь, – весело окликнул секретарь, беря под руку Василия Аксентьевича и Георгия Парамонова и тоже направляясь к машине.

Татьяна Ивановна чуть-чуть придержала полковника, приостановилась, победно глянула на секретаря, повернулась к бабам.

– А я вас, Иван Сергеевич, не заметила. Ну раз вы здесь – милости просим.

Секретарь засмеялся.

– Я-то заметил сразу, да вот не мог вспомнить: жена ли председателя? А теперь вижу – жена.

Он опять засмеялся. Бабы ободрились: эго Татьяна наша... Радуюсь её победе как своей собственной, они оживились и тоже, повеселев, заспешили к своим хатам вытаскивать из подполов всё, что есть лучшего, – председатель вернулся, кормилец.

1984

Маэстро полифонических деталей

Проза Виктора Слипенчука очень чистого тона. Сюжеты он берёт из самой жизни, при этом демонстрируя не только её знание, но и чутьё на характеры. В сборнике представлены два рассказа известного писателя – «Похоронка» и «День возвращения». Размышляя о них, понимаешь, что в этих текстах сосредоточены многие качества Слипенчука-прозаика, качества, делающие его писателям самобытным, со своей интонацией и со своим подходом.

Он не боится писать о простых людях, не боится сравнений с Абрамовым, Распутиным, Беловым, Астафьевым. Более того, он находит свой особый тон, особый подход к материалу. Он намеренно не сгущает краски, не насыщает текст обстоятельствами особого трагизма, он умудряется высекать искру сопереживания из моментов почти обычных, негероических. Так, например, в рассказе «Похоронка» главная героиня Мария живёт мыслями о невозможном возвращении мужа, на которого пять лет назад получила похоронку. Её внешняя жизнь вполне обыденна, а вот внутри всё её существо полнится видениями, где мир всё ещё с настоящим живым мужем Степаном. Описано это невероятно точно, поэтично, зримо. И всё говорит о том, что, может быть, муж жив, вернётся, любит. И тут приходит письмо, из которого следует, что Степан действительно жив, но сошёлся с другой и вовсе не собирается возвращаться к Марии. Каково? Здесь мы переходим к следующей особенности творческого метода Слипенчука. Он обладает поразительным умением удивить читателя. Неожиданность хода, внутреннее опровержение того, чего от тебя ждут, поиск жизненной правды, а не типологии украшает его замечательную прозу, делает её объёмной и плотной. Для меня принципиально важно, чтобы в жанре рассказа автор делал ставку на ситуацию, в которой оказываются

герои, а не на их судьбы. Слипенчук мои чаяния полностью в этой части оправдывает.

Всегда знал, что написать текст со светлой концовкой намного сложнее, чем действовать в ключе «все умерли, всех жалко»... Рассказ Виктора Слипенчука «День возвращения», несмотря на трагичность экспозиции, до предела светлый. Причём этот свет не яркий, но понимаешь, он не случайный. Автор остро ощущает все основные фазы бытия, для него смена времён года – нерушимость убеждения в том, что свет существует. И эта убежденность перетекает на бытование его персонажей, в основном женщин, которые ткут нити своей жизни несуетливо и с большой ответственностью. «День» в названии тут имеет большое значение.

Слипенчук – мастер точной детали. Не придавая своим персонажам чего-то чересчур романтического в поведении, он создаёт их своеобразность посредством всматривания в детали, в нюансы.

Сны – значительная часть русской литературы. Алексей Ремизов даже создал целое исследование на эту тему – «Огонь вещей». Уверен, живи Ремизов сейчас, он непременно бы проанализировал сны в художественном мире Слипенчука. Для автора не так уж важно сделать сон причудливым или каким-то особо в руку. Для него это часть полифонической работы в прозаическом пространстве. Сны как производная подсознания – мощный движущийся пласт, и он звучит самостоятельно и органично.

Виктор Слипенчук – автор, которого интересно читать, о чём бы он ни писал. Он не раб материала, он как скульптор – лепит из бесформенности идеальную форму.